

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 51

1967



Дмитрий ФУРМАНОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

**НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ДНИ**

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 51

Дмитрий ФУРМАНОВ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

Издательство «ПРАВДА»

Москва. 1967

АВТОБИОГРАФИЯ

Я свое раннее детство помню в жалких обрывках: годов до восьми. А тут пристрастился читать. И с тех пор читал много, горячим запоем, особо усердно Конан Дойля, Жюль Верна, Майн Рида, Вальтера Скотта и в этом роде.

Ученье: городское шестиклассное в Иваново-Вознесенске, там же торговая школа, потом на Волге, в Кинешме, за три года окончил пятый, шестой, седьмой классы реального.

Засим Московский университет. Закончил по филологическому факультету в 1915 году, но не успел сдать государственные экзамены — братом милосердия с поездами и летучками Земсоюза гонял на Турецкий фронт, по Кавказу, к Персии, в Сибирь, на Западный фронт под Двинск, на Юго-Западный, на Сарны-Чарторийск.

В половине 1916 года приехал в Иваново-Вознесенск и вместе с близким другом по студенчеству, Михаилом Черновым, работал преподавателем на рабочих курсах.

Ударила революция 1917 года.

Пламенные настроения, при малой политической школе, толкнули быть сначала максималистом, дальше анархистом, и казалось, новый желанный мир можно было построить при помощи бомб, безвластия, добровольчества всех и во всем...

А жизнь толкнула работать в Совете рабочих депутатов (товарищем председателя), дальше — в партию к большевикам, в июле 1918 года — в этом моем повороте огромную роль сыграл Фрунзе: беседы с ним расколотили последние остатки анархических иллюзий.

Вскоре работал секретарем губкома партии, членом губисполкома.

Потом с отрядом Фрунзе на фронт. И там: комиссаром 25-й Чапаевской дивизии, начальником Политуправления Туркестанского фронта, начальником политотдела Кубанской армии, ходил в тыл к белым на Кубани комиссаром красного десанта, которым командовал Епифан Ковтюх. Тут контужен в ногу. Вместе с другими шестью за этот поход награжден орденом

Красного Знамени. Потом в Грузию, из Грузии на Дон, с Дона в Москву. И здесь с мая 1921 года.

1917—1918 годы писал в «Рабочем городе» и «Рабочем крае» (Иваново-Вознесенск); годы 1919—1921 много писал публицистических и руководящих статей в военно-политических журналах; в то же время сотрудничал нерегулярно в газетах («Известия ВЦИК», «Рабочий край», «Красное знамя», «Коммуна» и др.) С 1921 года, приехав в Москву с фронта, написал «Красный десант» («Красная новь»), «Чапаев» (Госиздат), «В восемнадцатом году» («Буревестник»), начал сотрудничать в московских журналах.

В начале 1925 года вышла новая моя книга — «Мятеж» (Госиздат), посвященная гражданской войне в Семиречье летом 1920 года. После «Мятежа» вышло еще несколько книжек. Теперь вот года четыре литературную работу считаю главной, основной. Писал я и раньше, писать начал давно, но тогда это было словно между делом. Теперь — иное. Даже совсем иное.

Дмитрий ФУРМАНОВ

Москва, 7 января 1926 года.

ИЗ ДНЕВНИКОВ

1916 год

26 октября

Я накануне отъезда. Завтра ночью оставляю 30-й транспорт и еду на родину, заниматься с рабочими. Занятие почтенное... В душе и гордость и восторг... Работа есть постоянная, но не та, на которую мы шли, и потому — бежать, бежать и бежать... Там, с рабочими — я у литературы. Не пошел бы я к ней от горячки, но от такого застоя бегу с радостью... Где-то застанет меня 26-е число будущего года. Неужели в мирной, успокоенной Москве? Неужели к тому времени все уже кончится и снова наладится наша студенческая жизнь? Москва будет еще бурлить от пережитого горя, но это будет рокот утихающего вулкана.

А может быть, одну бурю сменит другая, и я сам умчусь в этом новом вихре, в водовороте еще более неудержимом и страшном...

8 ноября

Неужели поздно?

Теперь, когда стали ускользать возможности непрерывной, огромной работы, я почувствовал непомерную жажду знания, ощутил небывалую потенцию — жаркую, сильную, устремленную...

Осторожно, робея и не доверяясь, час за часом пьешь жадными глотками всю эту безмерную, красивую книжную мудрость. И не насытишься. Чем глубже, тем жарче, неутомимей благословенная жажда. Я окреп, я воскрес духом, я почувствовал, как выросли у меня белые голубиные крылья. Ожил. И понял вдруг, что вера в себя не должна умирать ни на единый миг. Это путь растления и окончательного изнеможения. Пусть

даже лишку, пусть перебор, но только дальше, дальше от бессмысленной, убивающей покорности.

...Громко, смело зову молодую свою жизнь на яркий солнечный путь. Там радость, там праздник, там гордость от осознанной и объявленной силы. Слава тебе, живая вера в живой источник живой души!

15 ноября

Предсмертная агония

Это агония, разве вы не видите, это отчаянная и последняя попытка — назначение Трепова. Разве не знаменательно, что Милюков с думской трибуны так открыто говорил о государыне? Глупость или измена — этот роковой вопрос давно взбурлили непокорные массы.

...Слышите, как сильно бьется пульс русской жизни? Взгляните широко открытыми алчущими глазами, напрягитесь взволнованным сердцем — и вы почувствуете живо это могучее дыхание приближающейся грозы.

Новыми наборами хотят ослабить Русь, чтобы *некому* было поднять революцию, чтобы было *кем* ее придушить. Но велика наша матушка Русь, и много осталось в ней честного люда!

Есть кому поддержать дорогое, поруганное знамя. А те, кем вы думаете придушить движение, — те не пойдут за вами: они еще сохранили и честь и тоску по свободе. Вы одни. И потому вас сокрушат. Казаки откажутся бить нагайками, солдаты откажутся колоть родных братьев и стрелять в них. Вы одни. А дыхание все жарче, все ближе.

Молодая сила уж громко заявила свое могучее: пора!

Вверху заметались, сбились в паническом ужасе. А в глубине бурлит. И вот-вот прорвется оттуда огненная лава, помчит-ся, загубит, изничтожит все наше видимое фальшивое богатство. Она остановится и на себе — такой обширной и крепкой, — на себе будет строить новое здание...

18 ноября

Тревожные вести

Пришли из Москвы тревожные вести. Комиссия по устройству Студ[енческого] союза просила передать представителей своим землячкам, что время подымать революцию, что надо готовиться, быть настороже каждую минуту.

В студенческой столовой продают Маркса, лавровские письма... Все знаменательные симптомы... Неужели близко? И хотелось бы приподнять краешек тяжелой, непроницаемой завесы, взглянуть туда.

Что-то будем делать мы — беспрограммные, беспартийные, но всей душой преданные свободе и братству? Зажигать не диво, а что мы будем строить на пепелище? Когда подумаю об этой практической стороне — чувствую и вижу, что бессилен и жалок. Пусть другие, те, которым ясны пути и цели, — пусть строят они это желанное, долгожданное здание. А мы, люди чувства и надземных желаний, — мы будем помогать только сочувствием да жарким, расплавленным словом. И довольно. Большого не можем. Дальше безрассудство. Без программы, без партии, без плана — по вдохновению, по яркому, по случайному порыву — будем мы строить и крепить это неведомое, зацелованное и слезами и кровью омытое здание близкой новой жизни.

Пробуждайся, крестись, молодая сила! Черные тучи все ниже, все гуще охватывают тебя, но воспрянь, рванись — победа всегда за тобой!

* *
*

Новый труд

После той жизни, каскадной и бестолковой, после двухлетней кочевки — с какой радостью, с каким подъемом ухватился я за старые, полузабытые книги. Сами по себе, если хотите, они не дают мне радости. Светит лишь через них дорогая цель... Изо дня в день идет упорная, систематическая работа. У меня ведь и к университету большой любви нет, во всяком случае, учебная его часть — дело второстепенное. Все эти индоевропейские языки, сравнительные грамматики и мертвые языки — все это трупы, через которые надо перешагнуть, чтобы полноправно вступить в светлый храм. Ведь я живу теперь и работаю совсем не над тем, о чем мечтаю, на чем хочу построить здание жизни. Теперь вот идет благодарная, благородная групповая работа, но... это не главное: всю жизнь посвятить этому делу я не могу, а наполовину, кое-как — есть ли смысл, а будет ли кому от того настоящая польза...

Литературная работа — вот они, магические слова, над которыми я и смеюсь и плачу. Теперь поскорей кончить университет. Пройти эту посрамленную прихожую, эту паперть, вводящую в светлый храм. Но в светлый храм попадают через паперть не потому, что это лучший и единственный путь, а лишь

потому, что привыкли косо глядеть на тех, которые проникают через крышу, через окна — прямо с высоты, с простора. Чтоб не было лишних, бесцельных мук — пойдемте через паперть. Так скорей же, скорей!... Эта бесконечная «предварительность» может надломить. Но скоро придет главное — тогда отдам ему все силы.

1917 год

1 марта

Беспокойные вести

Ходят слухи, как волны в море, будоражат, волнуют могучую зыбь. Где-то там, в далеком, чужом Петербурге, совершается родное — там революция. Поднялся народ, а с ним — четыре полка. Это особенно сильное обстоятельство, оно ходит из уст в уста, передается с жаром, многозначительным тоном — войско идет с народом! Там тысячи жертв, там стреляют, убивают. Есть даже слухи, что сменили правительство. Но слухи так слухами пока и остаются. Все ждут. Напряжение величайшее. «Перейдет в Москву, подымется белокаменная, а там и мы пойдем», — говорят обеспокоенные.

...Пока тихо. Но уж так накалилось кругом, так стало душно, что гроза неминуема. Теперь уж никто не сомневается в том, что она будет. Спрашивают другое: когда? Так спрашивали прежде, а теперь еще выразительней: в какой день? Ждут, когда пламя перебросится и зажжет горючие материалы.

... Беги, стремись, волна. Я знаю, что ты и меня увлечешь с собою.

10 марта

Сегодня великий день — день нашей революции. Море флагов, море восторженных, упоенных лиц, неумолчный поток бестолковых, но порою прекрасных речей. Гимны, и песни, и скорбь о погибших борцах за свободу перепелелись с речами, полными твердой веры в зарю новорожденного счастья. Шлем привет нашим братьям — тем, что томятся в далекой Сибири, в холодных далеких окраинах, в глубоких рудниках, в смрадных тюрьмах, — всем, кто еще до сих пор томится в неволе! Мы под сенью скорбного черного флага поем в честь павших героев свои

скорбные песни! Но те, что томятся до наших дней,— пусть верят они, что близок, уж мчится и к ним час освобождения! Неужели не чует ваше сердце, далекие братья, что свобода неслетя к вам, словно белый голубь, символ очищения и новой радости?!

Вы скоро вернетесь. Вы вернетесь в поредевшие ряды своих братьев-борцов и украсите, как венцом, борческую главу демократии. Скорее-скорее, дорогие братья: огненный пурпур зари скоро претворится в тепло, и вы не увидите, не поживете восторгами первых революционных дней.

11 марта

Впечатления дня

Еще ранним утром можно было беспокоиться за судьбу поднявшегося народа, но вчерашние газеты окончательно спасли положение. Когда узнали, что обе столицы в руках революционеров, что все войско на стороне народа,— руки были развязаны, сердце еле держалось в груди.

Местный полк целиком перешел на сторону народа; офицеры поклялись честным словом стоять за народ. Полковник с ними, но ему никто не верит: такой подлец может нарушить даже честное слово. Потому упорно всеобщее желание его ареста. К вечеру, говорят, арестовали. Жандармы и полиция обезоружены. Совершилось небывалое в летописях событие: 15 человек полицейских, во главе с полицеймейстером, осененные пятью красными флагами, подошли к думе с громкой, возбужденной марсельезой. У них на груди красные бантики, на устах — слова равенства, братства, а главное, свободы. Но, конечно, им никто не верит. Их щадят, потому что вообще настроены все против эксцессов. Тихо, торжественно и величественно проходит страница-революция. На площади все время огромные народные толпы. Уходят манифестации — на их место приходят новые. Оживление могуче-спокойное. На лицах у всех светлый праздник, и не простой праздник, а именно светлое воскресенье, когда уж греют солнечные лучи, когда говорит без умолку пробужденная природа. Вот и теперь льются речи, как голоса пробужденной природы, скованной долгим, мучительным сном. Все пробудилось и так обрадовалось сознанию, что сон не окончился смертью, так обрадовалось солнцу, что заговорило — заговорило, словно милое, но болтливое дитя. Поэтому речи ораторов бестолковы. Много в них чувства и наружу прорвавшейся жажды борьбы, но еще больше беспомощности и неумения все поставить

на свое место: и слово и дело. Поэтому слушать ораторов тошно. У них общие, надоевшие места. Ораторский состав весьма бледен, и он никогда не смог бы здесь что-либо организовать сам по себе. Теперь он только в словах изливает все то, что уже совершилось на деле. Солдаты, даже раненные солдатики с сестрами идут под сенью красного флага. Идут и поют святые песни освобождения. И эти свободные песни бьют по сердцам чутких прохожих: они вынимают засаленные платки и спешно трут воспаленные, красные очи. Детишки бегают с красными бантами. Девушки одели красные платья, окрутили косы красными лентами...

Всюду небывалое торжество. Поздравляют друг друга с новым годом; верят, что пришло и новое счастье.

Уже ясно, что дело освобождения встало на твердый грунт единения народа и войска. Момент по сочетанию обстоятельств — единственный в своем роде, повторяющийся один раз в тысячи лет.

19 марта

Я вел новую беседу о текущих событиях в кругу рабочих Воробьева и Глинищева¹. Правда, собралось немного — большинство «набивало погреб»², но впечатление осталось хорошее: у меня — от их внимательности, а у них — от животрепещущих вопросов, которые излагались возможно просто и толково.

Очень и очень просили повторить на ближайших днях... Вечером собрались у товарища — слушателя курсов. Всего было пятнадцать человек.

Разбирали программы партий эсдеков и эсеров. Разбирали подробно, одну в связи с другою. Прения были весьма оживленны. В обсуждении, впрочем, принимали участие пять-шесть человек, остальные задавали только отдельные вопросы. Я формально не причисляю себя ни к одной партии, но перевес симпатий, кажется, на стороне эсдеков. Смущает только их основное положение о сосредоточении крупной промышленности в руках отдельных, крупнейших единиц. Здесь что-то слишком теоретическое, мертвое и гадательное. Всех деталей программы партии

¹ Воробьево и Глинищево — в то время пригороды Иванова

² То есть набивало погреб снегом и льдом.

я еще, правда, не уяснил и потому нигде себя не фиксирую.

Вполне осведомленным по данному вопросу и убежденным эсдеком из нас был один лишь В. Я. ¹.

20 марта

Вчера, 19-го, было учредительное собрание клуба «Рабочий». Оглашен был устав, произведены выборы членов правления, ревизионной комиссии, кандидатов... Неоднократно обращались с призывом жертвовать книги. К сегодняшнему утру уже было получено четыре письма с приглашением прийти за книгами. В ближайшие дни будет обставлено здание и, бог даст,— через неделю-другую клуб откроется. В первый день записалось не более ста членов, многие пришли без копейки и обещали записаться при первой же возможности. На собрании присутствовало свыше шестисот человек — исключительно рабочих. Факт отрядный и знаменательный. Сочувствие живейшее. Вот где раскрывается воочию, что тьма наша и невежество были созданы силою, а не естественно вытекали из косной природы русского человека. Отношение сердечное, внимательное. Настроение торжественное, почти благоговейное. Многие еще не понимают, но уже вещим сердцем чувуют, что в этом клубе можно будет отдохнуть по-настоящему. Радость большая, светлая, всеобщая.

21 марта

Все окончательно выбиты из колеи. Работать систематически, спокойно решительно нет возможности. Всюду собрания, советы, организация разрозненных сил. Все спешно сплывається: одни сознательно, видя в этом единственную опору еще не отвердевшему новому строю; другие инстинктивно, увлеченные самим процессом организации, находя радость в самой близости, разрешая и утоляя ненасытную, никогда не умирающую жажду соединения. Объединяются рабочие, объединяются крестьяне, ученики, педагоги, интеллигенция, фабриканты, служащие, торговцы... Всех увлекла мечта о нравственности или широкой выгоде организованности. У каждого проявилась какая-то заботливость, каждый куда-нибудь торопится, что-нибудь замышляет, советует, опровергает. Жизнь забила ключом. Только старушки

¹ Степанов Василий Яковлевич (1893—1920), рабочий-большевик, слушатель Фурманова на рабочих курсах, активный участник Октябрьской революции.

окончательно перетрусили и все спрашивают, вернется ли ба-
тюшка-царь. В отдельных местах фабрикуется погромная ли-
тература, держатся еще приспешники разбитого режима, пыта-
ются что-то сделать. Но все напрасно. Вспоминается Некрасов,
говоривший о русском народе, что он:

...вынесет все — и широкую, ясную
грудью дорогу проложит себе...

Вот и проложил... Только жаль, что ты, заступник народ-
ный, не увидел, не дожид до этой прекрасной поры...

26 марта

Почетное звание «общественного работника» удесятеряет си-
лы, безмерно увеличивает жажду настоящей, положительной
работы, обязывает быть в высшей степени осторожным, рассу-
дительным и строгим, приучает к сознательности, личному
самосуду и личной самооценке. До сих пор я как-то мало верил
в свои силы, не представлял себя на общественном поприще,
сомневался, колебался, не допускал возможности выработать в
себе что-либо пугное и твердое. Волна [революции] выбросила
меня из болота, заставила призадуматься... А после раздумья,
после краткого колебания и сомнения расправились крылья, бог
знает откуда появились свежие силы, и я полетел... И вдруг
пришло то самое, чего напрасно ждал так долго я в смрадном
болоте сомнений и колебаний. Пришла бодрость и неутомная
жажда работы. В этой новой школе вырабатываются принципы,
закаляется воля, создается план, система действий.

Теперь одновременно приходится работать во многих органи-
зациях, по многим вопросам, до которых прежде страшно и жут-
ко было касаться: тут и библиотечное дело, и курсы, и просве-
тительная комиссия, и общество грамотности, и рабочий клуб, и
кружок пропагандистов. Особенно по сердцу именно эта послед-
няя работа — работа пропагандистская. Я впервые увидел, что
могу стройно, уверенно, а порою и жарко передавать свои
мысли, верования и надежды. Я видел многих на этом поприще
неуверенными, неподготовленными, слабыми. А их авторитет не-
поколебим... И разом явилось сознание, что в новой области
каждому необходимо начинать с азов, что стыдиться тут нечего,
что больше надо верить, чем сомневаться, и проч. и проч. Эти
простые мысли как-то прежде не приходили на ум. А теперь
они меня подняли, утвердили, дали жизнь...

Теперь и то бесконечно дорогое, то единое и светлое в жиз-
ни — литературное творчество — теперь и оно как-то стало бли-

же, стало понятнее, осуществимее, достижимее... Я наконец поверил в себя... Эта великая революция и во мне создала психологический перелом. Она зажгла передо мною новое солнце, она дала мне свободные, могучие крылья... Многого еще не знаю, ко многому только стремлюсь, но это уж не убивает меня, не заставляет опускать беспомощно руки. Я вижу, что и многие-многие другие так же беспомощны, как я, что они так же горят одним лишь желанием, при скудости содержания... Говорят — и что-то совершают. Я с ними... Я тоже что-то делаю, я тоже кому-то помогаю, я тоже облегчаю движение чему-то огромному, светлому. Радость такого сознания безмерна и неповторяема.

28 марта

Сегодня в разных местах состоялись беседы об Учредительном собрании. Я, между прочим, вел беседу на общую тему: «Смысл совершающихся событий». Характерно то обстоятельство, что после каждой подобной беседы рабочие останавливаются, благодарят и просят снова и снова прийти потолковать с ними. Слушают внимательно, сосредоточенно, но вопросов задают мало. Больше слушают. Теперь, на страстной неделе, кажется, трудно было бы кого-нибудь заманить на какую бы то ни было лекцию. А на деле иное: приходят и просят еще поскорее прийти снова. Жажда к политическому знанию — огромная. Литературы хорошей до сих пор нет. Приходят устарелые, мало-пригодные книжонки, макулатура разная, а хорошей книги все еще не видно. И как ее ждут, эту хорошую, свежую книгу! Спрашивают друг у друга, бегают, ищут, устраивают очередь на чтение. Готовиться к беседам приходится бог знает по каким источникам, потому и передаешь только основные мысли, безо всяких статистических данных, безо всяких сравнений... Все это устарело, все не годится. На завтра есть приглашение прийти побеседовать к солдатам в лазарет, а другой лазарет просит «пожаловать» на следующий день. Словом, всюду просят, всюду зовут — зовут каждого, кто мог бы хоть что-нибудь рассказать, хоть что-нибудь объяснить и растолковать.

2 — 9 апреля

...Теперь такая масса всяческих вопросов, что голова кругом идет. Отовсюду вопросы. Надо быть в курсе партийных работ, помимо знания программы и разногласий; надо быть гото-

вым на массу вопросов по поводу предстоящего Учредительного собрания; знать профессиональные союзы, историю революций, революционную литературу, постановку библиотек, аграрный, рабочий и крестьянский вопросы, городское и земское самоуправление, историю взаимоотношения держав, формы государственного строя... А все ведь это новое, мало или совсем неизвестное. Начинать приходится с азов, а перед тобой многочисленная аудитория со всем ужасом темноты, со всей неожиданностью вопросов. Котел очищающий — не спору; закалка богатая, страха и робости нет, но порою стыдно за это самое бесстрашие и решимость. Ночью познакомишься с историей профессионального движения, а днем уж надо излагать и объяснять его другим. И когда сыплются благодарности, сочувствие и довольство, невольно поднимается вопрос: «А что и все-то наше общественное строительство — не так ли случайно оно росло и создавалось? Не в этом ли, не в нашей ли пассивности причины российской тьмы?» Ведь наша политическая подготовленность худшего желать не оставляет. Мы застигнуты врасплох. И не диво, что при таком руководстве есть и будет так много греха.

19 апреля

Жгучие вопросы

Этих вопросов так много, что ни один из них не продумывается до дна, ни к одному нет спокойного, объективного отношения. На сцене новая чехарда, только не чехарда министерская, а чехарда вопросов современности. Война, Временное правительство, Учредительное собрание, рабочий, крестьянский, аграрный вопросы — вот неполный перечень мучительных вопросов, скачущих друг через друга. Положение чем далее, тем запутанней...

...Интеллигенция должна собрать всю свою духовную мощь, напрячь до крайней степени работу мысли, выступить смело, твердо, определенно. В ее руках сосредоточилась сила знания, в ее руках вся многовековая работа человеческой мысли. К этому алтарю пробивались только отдельные счастливицы из темных рабочих масс. Им некогда было думать о небе — за спиной стоял мучительный голод и пригибал свободную мысль к земному уделу, к заботе о хлебе насущном. В руках интеллигенции весь опыт всемирной борьбы угнетенных против своих угнетателей; в ее руках все протоколы бедствий, приходивших на смену благородной мечте, когда эта мечта сбивалась с пути, ошибалась

земною ошибкой,— в ее руках вся эта сила и весь этот ужас непоправимых земных ошибок, источников сугубого народного горя. Интеллигенция молчит. Она или прячется пугливо от позорного ярлыка буржуа, или робко поддакивает возбужденному народному гулу. Мы знаем, отчего гудит народ: он перестрадался, у него терпенье порвалось, как давно рыдавшая струна; он уж много раз касался к светлой мечте, и много раз темные силы сталкивали его обратно в черную бездну невежества и горя. Теперь он снова вырвался из бездны и снова боится сорваться на дно. Ему страшно. Его терзают воспоминанья, и как же не понять его страстное желание единым ударом сокрушить вековое зло, в счастливый миг утвердиться на новой грани — на грани пропасти. Как не понять его жгучих лозунгов, его слез, его негодования! Он идет напролом, терять и жалеть ему нечего, в прошлом одно только горе, одно мученье. Но борьба за лозунги требует большой осмотрительности, большого такта, большого умения. Ослепленный нахлынувшим счастьем, разъяренный ненавистью к старому злу, народ не может спокойно принимать этот крутой перелом. Он, как пущенный шар, мчится по склону горы, и куда его вынесет тайная сила — в бездну или на горный хребет — кто нам скажет?..

1 мая

...До сих пор я еще не зафиксировал себя за партией, но теперь, уезжая беседовать по деревням, со спокойной душой беру мандат эсеров.

16 июля

Надо уж говорить откровенно: до революции ничего-то мы не знали про политическую борьбу, ничего-то мы не понимали в политических лозунгах, потому что нельзя же считать политическим образованием нашу «эрудицию», почерпнутую в «Русском слове». И вот с первых дней мы дело себе представляли весьма просто: свергли царя, поставили новых министров, ну и дело с концом.

Как будто черная сотня разбита, как будто у демократии с буржуазией одинаковые цели, как будто Англия и Франция нам истинные друзья, как будто спокойствие, а не углубление революции — теперь главная цель текущего момента. Да тут еще надо присвокупить, что по старой привычке почитывали одно только «Русское слово»... Из совокупности всех этих причин для нас, безграмотных политически, и вырисовывалась лишь одна

дорога — тихого дожидательства, всяческого доверия и сладкой радости по случаю свержения царя Николая. Собственно, дальше свержения наша мысль не работала, остальное мы готовы были поручить устроить тем лицам, которые взяли главенство в первые дни революции...

Мы тогда еще ничего не знали, мы тогда ничего не понимали. Да прости нам бог первоначальное неведение! Теперь, почти через 5 месяцев постоянной, напряженной работы, постоянных споров, бесед, чтений и лекций, — теперь многие стали замечать свои первоначальные ошибки, стали сознаваться, хотя бы перед самим собою, в политической безграмотности и отрекаться от того, что по неведению исповедовали 3—4 месяца назад.

И нечего стыдиться, друзья! Смело заявляйте о своем переломе, это только засвидетельствует ваше честное отношение к исповедуемой истине, вашу искренность и благородство. Вы не могли остаться безучастным зрителем с первых же дней революции. Вам хотелось дать и свою лепту на постройку огромного нового здания...

Мы понимаем этот священный порыв, но ведь, кроме порыва, у вас не было совершенно никакого багажа. Вы рванулись к делу, движимые только благородным порывом. Теперь вы многое видели, многое слышали — неужели же и теперь вы остались все тем же близоруким, ощупью идущим добродетелем? Будьте откровенны, прежде всего!

Я смотрю на себя и поражаюсь той перемене, что совершилась за этот, главным образом, последний месяц. Как нарастал, как собрался этот перелом — я все еще не уясню себе окончательно, но ужасаюсь крайностям.

Два месяца назад я уехал по деревням. Взял мандат и от местного оборонческого комитета социалистов-революционеров. В этой плоскости я и вел свои беседы в течение первого месяца. Но вот совершилось наступление 18 июня. В те дни я был в Лежневе.

Помню, подбежал солдатик и заявляет впопыхах:

— Товарищ, сегодня пришла весть, что у нас громадная победа. По этому случаю устраиваем благодарственный молебен. Скажите, пожалуйста, речь после молебна, чтобы поднять дух.

— Нет, — заявил я, — не могу. Радоваться тут нечему: мы ли победили, нас ли победили — горе одинаковое, страдания одинаковые, для меня тут нет никакой радости...

Сказал я это как-то машинально, потому что до того дня еще мало размышлял об интернационале. Но, сказав, начал упорно думать. И увидел, что правда именно в этой стороне. Стал приглядываться к взаимоотношениям крестьян и пленных и уви-

дел, что они совсем не враги, что кто-то жестоко нас обманул и умышленно натравил друг на друга. Я сделался в душе интернационалистом. И в соответствии с переломом изменил сущность своих бесед... Когда приехал сюда и высказал свой взгляд на войну, местный оборонческий комитет просил меня выйти из состава партии, как не согласного с его основными положениями. Я ушел. Теперь встает задача — организовать на месте комитет [социал]-р[еволюционеров] интернационалистов.

18 августа

К т о я ?

Отколовшееся «левое крыло» не подает о себе вести. У него нет своего органа.

Кто же им руководит, какова тактика вождей, какова сила? Мы решительно ничего не знаем.

Я говорю «мы», потому что за этот последний месяц в местной эсеровской организации произошел раскол. Оказалось много интернационалистов. И теперь перед нами задача: основать ли свою отдельную фракцию или работать совместно и только реорганизовать комитет? Дело в том, что травля партии на партию и фракции на фракцию достигла кульминационного пункта. Рабочий устает, растеривается, не знает, куда приклонить голову, потому что «все же социалисты». Или, вдаваясь в крайность, начинает презирать все иное, кроме своего. Необходима какая-то перестройка — не соглашательство, а уяснение бессмысленности дальнейшего раздора, имея перед лицом общего врага — надвигающуюся контрреволюцию, которая заявила о себе открыто на московском совещании... Весьма понятно, что первые дни мы поклонялись героизму Родзянко, «положившему голову на плаху», рисковавшему жизнью. Мы даже удивлялись: почему не он назначен премьером?

Затем взошла звезда Керенского. Мы плакали от радости, мы слепо верили его беспредельной честности и государственной мудрости, памятуя жгучие речи в последней думе. И когда шаг за шагом, вглубь и вширь размахивалась революция, когда мы усвоили политическую азбуку, мы поняли, что Родзянко стоит на другом краю, что Керенского мало...

«Война до конца»... Мы готовы были тогда поддерживать даже этот преступный клич, мы тогда еще не знали, не понимали суровой всемирной подоплеку безжалостной резни, не подзревали в числе иных причин войны наличности вековой классовой розни, сознательной тяги, выгодной одним, губительной другим. Когда мне стали ясны скрытые пружины мировой

трагедии, когда я с ужасом оглянулся на только что пройденный путь, полный жестоких, преступных ошибок,— я бросился бежать без оглядки и примчался к крайнему левому берегу.

Я все же не знаю — кто я. Только ли социалист-революционер интернационалист или максималист.

У меня нет никаких руководств, я ничего не знаю об органах, потому что и «Трудовую республику»¹ закрыли. Мои письма пропадают даром. Сегодня послал М. Горькому, прося навести возможные справки. Я кидаюсь во все стороны, ловлю слухи, вырезаю и записываю что только можно и все-таки не имею перед собой общего, ясного плана работы.

И всегда завидую большевикам, которые имеют руководящий орган.

Местный Совет рабочих и солдатских депутатов кооптировал меня в Исполнительный комитет. Интернационалистские взгляды позволяют мне вести пропагандистскую работу в контакте с большевиками. Местный эсеровский комитет с Советом в раздоре.

И вот теперь, организуя максималистскую фракцию-партию, мы стоим на распутье...

7 сентября

Совет

...Целый день Совет кишит приходящими, целый день надо успокаивать, разъяснять, помогать.

Взволнуется ли народ из-за голода, не хватает ли на фабрике подмастерьев, забастуют ли типографщики, начнут ли вырубать окрестные леса, появятся ли в городе погромные слухи,— все эти нужды и требования стекаются в Совет, все это ищет здесь разрешения. Доверие к Совету огромное. За полгода революции не было еще здесь эксцесса, который можно было бы объяснить непредусмотрительностью или преступной халатностью Совета. А все потому, что во главе стали слишком честные, слишком бескорыстные люди. Они уже забыли про свою частную, личную жизнь, они оторвались от «старого мира» и, кроме Совета, ничего не знают. В данный момент лишь такая преданность и может отстоять молодую, чуть созревшую, вседемократическую организацию...

¹ Максималистский еженедельник, издававшийся в Петрограде.

23 сентября

...При Совете начал я большую работу: читать лекции для всех фабрик поочередно. Кроме фабрик — для полка и тт. железнодорожников. Социализм, партии, конституции — вот приблизительный цикл лекций. Надо приучить всех к Совету, заставить полюбить Совет, почувствовать свою кровную связь с ним.

Только сотрудников не вижу, а одному работа не оказалась бы непосильной. Сегодня провел первую лекцию-беседу с дербневскими рабочими. Из 800 было около 100 чел. Оповещена была вся фабрика.

5 октября

Елюнино

Сюда пригласили меня присутствовать на выборах земской управы. Были настолько внимательны, что прислали на станцию лошадь и подкатили прямо к правлению. Из 26 гласных 18 большевиков и только 8 эсеров. Как ни странно это с первого взгляда, а на деле очень понятно и вполне естественно. Я видел мужиков, годов под 50 — в лаптях, в изодранных тулупах и нахлобученных шапках, и когда спрашивал: «Вы, тов[арищ], какой партии?», — крестьянин, чистокровный землепашец, отвечал: «Большевик!» Согласитесь, что странно это слышать от темного крестьянина, до сих пор инстинктом тянувшегося к партии социалистов-революционеров. Здесь причину и вину следует искать в тактике самой партии. Крестьянину стало ясно наконец, что там, наверху, что-то неладно, что настроены там слишком мирно, что, голосуя вместе с ними, «можно проголосовать и землю», как выразилась Мария Спиридонова, предупреждая демократию на петербургском совещании о голосовании за коалицию.

И вот темные хлеборобы силою вещей должны были порвать с той партией, которая утратила былой революционный дух, силою вещей вынуждены были идти к большевикам. Кругом они видели, что эсеры — это наиболее податливая, наименее революционная, самая зажиточная часть крестьян, что туда же вошли и лавочники и даже механики, не говоря уже про обеспеченных квалифицированных рабочих, которые даже расстались с эсдеками. Эсеры в Кохме на выборах земской управы блокировались с кадетами. Правда, на довыборах они выставили в числе кандидатов и несколько человек большевиков, но этот факт

блокирования окончательно раскрыл глаза бедному крестьянину и заставил его отшатнуться от эсеров.

В Кохме гласных большевиков 22 чел., остальных 28, и вот эти 28 отказались от работы в управе, желая все взвалить на большевиков и дискредитировать их окончательно, всячески вредя и не помогая им в повседневной работе. Такая же картина наблюдалась и в Елюнине, где эсеры отказались дать своего представителя в управу, несмотря на то, что большевики предлагали им одно из трех мест.

Говоря о личном впечатлении, замечу, что все эсеры, которых я там слышал, произвели на меня, прежде всего, впечатление людей с коммерческой жилкой, буднично практических, совершенно не одухотворенных какою бы то ни было высшею идеей, жалких на скудных мыслях и возмутительных на явно саботирующей практической работе.

Они, собственно говоря, самые определенные мелкие кадетышки, примкнувшие к эсерам лишь потому, что тактика эсеров совершенно не отличается от тактики кадетов и не грозит свергнуть их в пучину борьбы.

Впечатление было у меня тяжелое и вместе отвратительное.

...И вот крестьянская Россия раскалывается. Отовсюду слышим, что крестьяне то здесь, то там провели в волостное земство большевиков. Это слишком характерно, симптоматично и показательно для оценки эсеровской тактики, которая даже Землей и Волей, писанными на бумаге, не может удержать крестьян в своих руках...

14 октября

К л у б к о м м у н и с т о в

Только вчера произошло открытие клуба коммунистов — его назвали именем Ленина. Присутствовало человек до 700. Атмосфера дружная, теплая, товарищеская. Затянулись с песнями до глубокой ночи. Обстановка великолепная, но расставлена довольно безвкусно. Кто во что горазд, тем и занимается: поют, декламируют, возятся в библиотеке, с граммофоном, с чаем. Первый вечер был определенно хорош. Как-то пойдет там наша работа...

26—30 октября

Надвинулись грозные события. Два месяца назад мы пережили такую же горячку в корниловские дни. Теперь, по-видимому, дни Керенского.

Передаю только самое-самое главное. Вчера было заседание Совета. Последние дни и в рабочих массах и в полку мы подготавливали товарищей к событиям, которые можно было предвидеть с точностью до одного дня. Часов в 8 я звонил в Москву. Редактор «Известий Совета» сообщил:

«Временное прав[ительство] свергнуто...»

Примчался я как оглашенный, сообщил. Неистовый взрыв радости, аплодисментов, несмолкаемых криков восторга. Словом, все то, что было при свержении Николая II.

Только диву даешься: свергли «социалиста» Керенского, Александра IV, как говорят солдаты,— и радость у всех настолько яркая, искренняя и огромная, будто свергли вампира, злейшего изо всех царей. Пришла снова к нам уже знакомая го-рячка тревожных дней.

Выбрали Революционный штаб из пяти человек. Между прочим, я состою в нем председателем.

1) Всюду поставлен был немедленно контроль и караулы.

Полк с нами и целиком стоит на защите Совета.

Намечен ближайший порядок работы штаба.

2) Реквизиция средств передвиж[ения].

Немедленно запросили автомобильную команду. Ответ получили тот же, что в корниловские дни:

«Автомобили все поломаны» (позже оказалось, что они разобраны).

Начальником автомобильной команды является фат-офицер-ришка, ненавидящий Советы. Его постановлено отправить на фронт или арестовать на месте.

3) Связь с областью.

Отовсюду запрашивали по телефону. Мы сообщали, что уз-навали сами.

Между прочим, поздно вечером местный ж[елезно]дорожный комитет обратился с просьбой убедить Шуйский совет снять свой контроль на станции.

От имени штаба, на свой риск, я снесся по телефону с Шуей, объяснил Совету, как обстоит дело с железнодорожника-ми у нас, как мы работаем в тесном контакте и считаем лишним свой контроль. Я предложил им снять контроль немедленно. Через полчаса местный железнодорожный комитет был извещен о том, что контроль в Шуе снят.

Забастовка почтовиков

Почтово-телеграфные рабочие и служащие прекратили работу 27-го в 10 ч. утра. Прекратили потому, что считают абсолютно, принципиально неприемлемым рабочий контроль.

Мотивировали уклончиво, неопределенно; соглашались, что главная причина не в технических неудобствах, не в том, что наши контролеры мешают работать, оскорбляют и прочее.

Проскальзывала мысль о том, что Временное пр[авительство] является единственной властью и иной власти они не признают. Они — частичка общего союза, а ЦК¹ в Москве распорядился прекращать работу немедленно, лишь только Советы поставят контроль. Они, след[овательно], подчинились постановлению ЦК, подчиняясь дисциплине, исполняя профессиональный долг. Но было тут что-то другое. Несколько человек главарей с кадетским образом мыслей подбивали, застращивали, вели за собою остальных. Надо было торопиться и принимать экстренно решительные меры. Они предъявили свой ультиматум о контроле еще 26-го числа, обозначив срок 12-ю часами дня. В 3 часа у нас было советское собрание. На это собрание мы и призвали их представителей дать точный, ясный, окончательный ответ.

Представителя они выбрали, по-видимому, неудачно. Многие потом от него отреклись и не считали для себя обязательными и приемлемыми его заявления. Он заявил, что:

1) поддерживает целиком Вр[еменное] пр[авительство];

2) работать на обе стороны;

3) отсылать каждую телегр[амму] по принадлежности, не извещая о том Совет.

На всех трех пунктах его разбили и поставили в такое положение, что он должен был признаться, что стоит не в лагере рев[олюционной] демократии.

Совет был возмущен до глубины.

Приняли суровую резолюцию: поручить пятерке принять самые репрессивные меры, вплоть до ареста. Под репрессивными мерами можно было понимать что угодно, если только представить себе все негодование, которое овладело членами Совета, когда он поставил все ведомство в другой лагерь.

Поручили им снестись с ЦК и известить о результатах Совет, который соберется завтра, 27-е, в 6 час. вечера. Но почтовики, не известив Совет, кончили работу 27-го в 10 час. утра.

28-го они все были арестованы на собрании и препровождены в Куваевскую столовую под стражу.

Ночью 28-го мы пошли вчетвером, все члены штаба революц[ионных] орг[анизаций], объяснить им серьезность положения.

Говорить пришлось главным образом мне.

Главной целью я поставил себе разъяснение разнородности

¹ Имеется в виду Центральный комитет профсоюза почтово-телеграфских служащих.

интересов в их собственной среде. Разбил их на высших и низших, противопоставил интересы одних интересам других и внес таким образом дезорганизацию.

В горячке советских прений 27-го многие отрицали в почтовиках демократов. Но, разумеется, они в большинстве своем такие же пролетарии, что и рабочие.

Другой вопрос, разумеется, их общественный вес, степень пролетарской сознательности и активность в революционную эпоху.

Беседа, по-видимому, подействовала.

Под утро они прислали в штаб резолюцию, где указывалось, что они встанут на работу в 9 час. утра, если только мы к своему рабочему контролю позволим им прибавить свой контроль. На этом согласились, и они встали на работу.

Но беда в том, что Иваново отрезано, изолировано и работать нет возможности, кроме текущей возможной работы.

Вечером 30-го посылаем делегацию в Моск[овский] ЦК их проф[ессионального] союза из трех членов: одного — от почт[ово]-телегр[афных] служ[ащих] и раб[очих], второго — от Совета, третьего — от Ц[ентрально]-стач[ечного] комитета.

Пока на этом остановились.

П о л к

Полк с нами. За несколько дней до переворота мы уже ходили по ротам и подготовляли солдат.

Полных рот здесь всего три — 11-я, 12-я, 14-я. Из них вполне обучена и готова к бою одна лишь 11-я.

27-го сместили и арестовали начальника гарнизона. Поставили нового, молодого штабс-капитана, который перед семеркой ходит на цыпочках.

27-го устроили общий полковой митинг. Там единогласно вынесли резолюцию о полном доверии и всемерной поддержке Советов.

Солдаты с нами; рабочие с нами; железнодорожники с нами. Объединились три огромные силы. Здесь, на месте, ничего серьезного не предвидится, так как по первому требованию семерки полк расстреляет толпу, идущую против Совета.

В эти последние дни близость Совета с солдатами особенно очевидна. Все время от штаба идут распоряжения в полк, и распоряжения немедленно выполняются.

В полку был избран Военно-революционный штаб из пяти человек.

Теперь его раскассировали и власть исполнительную (по

приказанию семерки) передали комиссару, который информирует обо всем нач[альни]ка гарнизона.

Солдаты держатся отлично.

В городе полное спокойствие.

Чувствуется, что власть в крепких, надежных руках солдат и рабочих.

Ходят всяческие слухи, но они разбиваются действительным положением вещей.

Штаб революц[ионных] орг[аниза]ций (семерка)

Пятерка, созданная Советом, была временным исполнительным органом. Она существовала всего два дня с небольшим— 25-го и 26-го.

27-го были созданы президиумы соц[иалистических] партий (макс[ималистов], б[ольшевиков], м[еньшеви]ков, эсеров), железнодорожного ком[итета], полкового ком[итета], городская управа и в согороде Ис[полнительного] ком[итета] Совета и в согороде.

Меньшевики и эсеры отказались принять участие в работах нового органа. Меньшевики заявили о своем выходе из Ис[полнительного] ком[итета] Совета.

Заявив, те и другие ушли...

Пятерка передала свои полномочия штабу в ночь на 28-е.

Штаб является высшей властью в городе. В его распоряжении, полном и непосредственном, находятся все вооруженные силы.

Лишь только почтовики прекратили работу, мы немедленно мобилизовали свой штат из рабочих. Это была торжественная, незабываемая и курьезная картина.

Нам необходимо было установить связь Совета по городу и с Москвой.

Звонишь в центральную:

— Эй, кто там?

— Я, Синюха... А это кто спрашивает, ты, что ли, Дм[итрий] Андр[еевич]?

— Я... я... Поторопись-ка, восемьдесят восьмой номер.

— Ладно, устрою... А что у вас там, все ли в порядке, в Совете-то?

— Все, все. ты поторапливайся...

Слышишь в трубку, как он отойдет и начнет переговариваться с товарищем: 88-й просят... Дм[итрий] Андр[еевич] говорит. Надо будет соединить...

- Вали, втыкай вон эту...
- Какую эту?.. Не ее, вот эту надо.. Тут неправильно..
- Вот чертополох, говорят тебе, втыкай. А ты уж не бойся, я знаю... Это она самая и есть...
- Долго ищут они, где ткнуть, куда нажать... Наконец, минут через пять, звонят:
- Ты слушаешь, Дм[итрий] Андр[еевич]?
- Слушаю, слушаю! Да поскорее вы, черти... Чего вы там копаетесь?..
- Эка, копаетесь — тебя бы посадить сюда... И то все время, словно волчок, кружусь с боку на бок...
- Ладно, ладно, поскорее, Ванюха...
- Сейчас нажму, а ты звони...
- Что-то зашумит, защелкает... Звонишь...
- Откуда говорят?
- Центральная комната...
- Ванюха, ты?
- Я...
- Какого же черта не соединяешь?
- Соединяю, да еще не вышло..
- Ну, поворачивайся, брат, поворачивайся...
- Ладно, постараюсь, товарищ...

Таким образом путаешься иной раз минут 10—15. Наконец добьешься, кончишь говорить, а Ванюха только и ждал—тут же звонит из центральной:

- Что, поговорил?
- Поговорил, Ванюха, спасибо...
- Вот то-то и дело-то, а ты, белый черт, все бранишься.
- Ну, прощай, прощай — мне некогда...

Таким образом идет работа. Рабочие вынуждены хвататься за все.

Есть мысль начать учить рабочую армию почтовому, телеграфному, телефонному, а может, и железнодорожному делу, чтобы в нужную минуту пустить эту армию в дело. Разумеется, в данное время нет возможности, но дело верное.

С у д ь и

В Совете шло заседание, когда арестовали почтовиков. Необходимо было допросить их немедленно и оставить только главарей. Было уже часов 9 вечера. Заседание кончилось, рабочие сходили по лестнице.

В штабе в это время вырабатывался план допроса почтовиков. Печатались вопросы.

Почтовиков всего до двухсот человек. Судей тут потребуется немало.

— Товарищи,— обратился я к рабочим.— Почтовиков мы арестовали. Но большинство из них попало по недоразумению. Их надо допросить и большую часть отпустить. Помогите, товарищи. Дело общее, давайте вместе и разрешать. Оставайтесь здесь человек пятнадцать — двадцать. Разумеется, нужны грамотные, осторожные и прочее. Я объясню вам, в чем дело.

Мигом записалось шестнадцать человек. К тому времени вопросы были напечатаны. Я разъяснил им, как нужно вести следствие (хотя руководствовался больше здравым смыслом, а не юридическими тонкостями), как следует вести себя во время допроса. Было уже около 10 часов.

Допрос порешили снять сегодня же ночью, чтобы наутро часть выпустить.

Потом перерешили, допрос отложили на утро, а беседовать с почтовиками пошли мы сами.

О результатах переговоров я уже писал. Допрашивать не пришлось. Но это не важно, здесь важно другое: изумительно дружно откликнулись рабочие; заявили о готовности проработать ночь, только помочь бы чем-нибудь Совету.

Взялись за дело совершенно новое, за дело ответственное. Верят тому, кто их ведет. В этом доверии здесь построено все.

Рабочие за октябрь получили всего по пяти фунтов муки, а молчат.

Иные давно бы взбунтовались. Здесь положение другое. Все держится авторитетом Совета.

Власть у Совета фактически была во все время революции, теперь она только оформлена и оглашена.

1 ноября

С о г л а ш е н и е

«На 24 часа заключено перемирие между социалистическими партиями, чтобы положить конец братоубийственной войне и столкнуться о создании социалистического министерства — от большевиков до народных социалистов включительно».

Это же позор! Какое тут может быть перемирие и что тут за «братоубийственная» война. Кто кому брат? Тут сошлись враги — злейшие, непримиримые враги, и они должны кончить вражду своей борьбой. Один должен погибнуть, вместе жить невозможно. Что вы понимаете под братом? Русского? Брата по нации?

У нас нет никакого братства. У нас есть только братство по нужде. Так и скажите прямо, что вы боитесь гражданской войны, что этим «перемирием» вы хотите достигнуть мира в стране во что бы то ни стало. Если вам хочется только тишины — тогда, разумеется, вы правы, но если вам дорога народная победа — не бойтесь гражданской войны, она неизбежна, без гражданской войны мы никогда не сломим упорного внутреннего врага — она неизбежна.

И нечего закрывать глаза на подлинную стоимость всевозможных оборонцев. Нам не по пути с ними, и тут о соглашениях не может быть речи. Все должно решаться в пользу народа.

Все средства допустимы, если вы честный, бескорыстный революционер и работаете единственно для трудовой массы.

Пусть еще прольются целые потоки крови — она очищает, икупительная кровь.

Ведь, в сущности, безразлично, сколько человек погибнет: один или сто. Каждый страдает лишь сам по себе; увеличение или уменьшение страданий у других ничуть не изменяет суммы его страдания. Вместо одного будет сотня страдающих. Это неизбежно, то есть массовое страдание при массовой борьбе. Это и лучше, так как сознание солидарности утишает человеческую боль.

Вы боитесь гражданской войны и этим самым отвергаете внутреннюю войну вообще. Но ведь для того, чтобы прекратить внутреннюю войну вообще — надо заключить соглашение со всеми воюющими. А воюющей является буржуазия. Значит, и с ней соглашение? Значит, опять старая песня? Нет, нет, к черту ваши мирные переговоры. Борьба должна быть беспощадной, и вожди обязаны до конца стоять на крепких позициях.

Если мы победим — мы не пустим буржуазию в Учр[едительное] собрание. Что ей там делать, что отстаивать? Фабрики и заводы перейдут в ведение общин, и фабрикант может поступать на работу, как всякий рабочий. Какие классовые интересы отстаивать пойдет он в Учр[едительное] собрание?

Мы не должны допускать туда буржуазию. Ведь хуже, чем рабочему, — не придется жить ни одному фабриканту, ни одному помещику. А за критерий мы и должны брать рядового работника. Если считаться с заводами буржуазии — тут никакие Учр[едительные] собрания ничего не создадут. Каждому и в каждом отдельном месте хорошо известно, по какому списку проходит буржуазия. Этот список надо аннулировать. Как будто мы нарушаем этим самым четвертую форму выборов? Выборы будут не всеобщие? Да, не всеобщие. Но это в интересах трудового народа, и мы имеем нравственное право отбросить и от-

брасывать буржуазию до тех пор, пока не народится и не окрепнет рабочая интеллигенция.

Буржуазии там делать нечего. Для нас не существует ее особых интересов.

13 ноября

Штаб рев[олюционных] орг[анизаций]

Штабу приходится выдерживать на своих плечах невероятную работу. Я уж не говорю о времени—мы целые дни в Совете, едва только успеваем сбежать отобедать. Целые дни, а посменно и ночи. Ни единой минуты штаб не остается без дежурного. Количество рабочего времени еще можно было бы принять, если б только работа соответствовала наличным силам. Но приходится нести ведь совершенно непомерную тягу.

Я не знаю — какой только вопрос не касается теперь штаба. Нам приходится быть универсальными, ибо нет специалистов, по которым можно было бы распределить различные отрасли выполняемой нами работы. Укрепление наших завоеваний, борьба с темными силами, успокоение рабочих масс, борьба со спекуляцией, продовольственный и мануфактурный вопросы, организация Красной гв[ардии], реорганизация милиции и уголовно-розыскного отделения, борьба с хищнической порубкой леса; всемерная поддержка все еще продолжающейся стачки; поддержание контактной работы общественных организаций; снабжение рабочих оружием; выработка подготовительных мер и плана захвата рабочими фабрик; борьба с саботажем почтово-телеграфных служащих; заботы о пополнении банковских касс; регулирование внутренней жизни в городе... Да ведь их безмерное количество — отраслей нашей работы...

Естественная смерть

Штаба рев[олюционных] орг[анизаций]

Фактически он уже умер—Штаб рев[олюционных] орг[анизаций]. Он выполнил свою боевую роль в первые дни Октябрьской революции и притих. Теперь, когда нужна не только борьба с врагом, не только усмирение и первоначальное утверждение завоеванных позиций, когда нужна работа планомерная, созидательная по существу, не катастрофическая по форме,—теперь вполне естественно видеть, что функции штаба мало-помалу переходят к Исполнительному комитету. Назавтра поставлен во-

прос о распределении функций между этими двумя органами, а может быть, и об окончательной ликвидации штаба. Горячка первых дней прошла. Разумеется, это совсем не значит, что вообще миновала опасность, что теперь можно почить на лаврах.

Ликвидация штаба — отнюдь не призыв к полному успокоению. Но уже миновала пора, когда необходимо было всю силу власти сосредоточить в руках крошечного коллектива — подвизного, решительного, немногочленного.

Надо утверждать и выше подымать авторитет Совета. Штаб что? Пустой звук! Минует острый период, и с ним умрет штаб. А Совет останется жить. Он по-старому будет сердцем рабочей массы.

И его авторитет надо подымать как можно выше...

30 ноября

...Полагаться приходится лишь на собственную силу, на собственное мужество и собственное знание. Мы одиноки. В этом трагизм, но согласитесь, что в этом достаточно и самоотвержения, достаточно грозного величия. Рабочий, темный и уставший, истерзанный донельзя непосильной борьбой, кует счастье будущим поколениям.

17 декабря

Максималисты

У нас в группе всего человек 18—20. Когда спрашивают сторонние: почему вас так мало,— спокойно, гордо и даже высокомерно мы отвечаем:

— К нам не так-то легко попасть. У нас подбор идейный. Для количества мы не подбираем. Это лишь у вас прием торговцев. «Приходи, записывайся в нашу партию, наша лучше всех других». Разве это достойно социалистов? У нас так не принимают. Мы строго процеживаем. Нужна рекомендация, убежденность, согласие взять на себя определенную функцию, работать для партии. Двери мы никому не закрываем: милости просим, приходите,— по вторникам и воскресеньям у нас очередные собрания, изучаем политическую экономию и разные дела, свои дела разрешаем,— приходите и слушайте; числитесь кандидатом в члены, а когда мы увидим, что вы готовы,— запишем и в члены. Как все это хорошо!

Когда говорим — мы и сами верим, что все именно так об-

стоит, что подбор у нас идейный, и т. д. Но если присмотреться — идейных максималистов нет. У одних неопределенно-анархические склонности и никаких знаний; другие — самые заурядные мещане, малопригодные на боевую, кипучую работу за максимализм; третьи — просто политические младенцы, попавшие «по знакомству» через 2—3 членов, уже состоящих в группе. Записались потому, что куда-нибудь надо же записываться, иначе какой же и пролетарий. Сознания групповой связанности у очень и очень многих недостает.

Самому работать мне некогда, а можно сказать без автопохвал, что Дм. Фурманов является стержнем местной группы максималистов. Об этом они постоянно говорят мне сами, и ничего не могут поделать, когда почему-либо я не смогу прийти на собрание: помнутса, потолкуют о своем бессилии и разойдутся... Так было каждый раз, когда я не приходил на собрание.

А советская работа, как более крупная и ответственная, не дает мне возможности оторваться на партийную работу. Где важнее быть: в Совете или в партии? Я думаю, что в Совете.

НА ПОДСТУПАХ ОКТЯБРЯ

(1 мая 1917 г. в Иваново-Вознесенске)

Мы хотим, чтобы Первое мая было теплым, светло-солнечным днем. А сегодня так скверно: моросит изнурительный, бесконечный дождь; по выбоинам дорог хлюпает мутная вода; посерели и принахмурились дома, сараи, заборы, низко опустилось дымчатое, скучное небо.

Ах! Первое мая должно быть совсем иным! И не только я — мы все ожидали его в лучах, в цветущей зелени, с голубым высоким небом.

Теперь, я думаю, всем тяжело и обидно, как мне; даже не только обидно-тяжело, а опаска берет: «Ну, да как никто не придет, одни знаменосцы? Кому захочется в этакую гнусную слякоть истязать себя долгие часы? Не подумает ли каждый: «А пусть без меня... Что я один? И не приду — хватит народу... Дай-ка пережду окаянную хмару...» Гвоздем торчала эта мысль. И беспокоила...

Я вхожу на широкий фабричный двор. Он напомнил мне распростертую засаленную рабочую блузу, когда от дождя по ней стекает масло, известка, нефть, прилипшие комья грязи

На пустынном дворе еще большая тоска, чем на безлюдных утренних улицах.

Комнатка у фабричного комитета небольшая — черная, прокуренная, полутемная.

Мы сегодня пришли сюда спозаранку: не дошли вчера атласные знамена, не достроили подмостки театру, а открыть его надо сегодня же, Первого мая. Я не первый пришел: Катерина Лунева, Настя — сестра ее, Гаврилов, Никита Губан, старик Алексеич, — вон их сколько, уж не ночевали ли тут?

— Здорово, товарищи!

— Здравствуй, Павел! На молоток — иди на сцену, тебя там ожидают на подмогу.

Я ухожу. Но прежде чем уйти, как всегда, смотрю на Катерину: у нее под опущенными ресницами не вижу глаз; губы сложены строго; низко опущен платок, она вся перегнулась,— склонилась над работой. Не стану мешать, не оторву, не скажу ей ни слова — лучше послушаю, полюбуюсь, как она станет говорить рабочим про Май; так постановил фабричный комитет, чтобы Катерина сегодня говорила: ее любят и уважают — такую рассудливую, умную и строгую.

Длинным-длинным коридором (такие только на фабриках) я пробираюсь к театру: мы его построили в пустующем сарае, когда-то забитом от низу до потолка хозяйскими товарами.

На минутку остановился я и слушаю: тихо. Где-то за стенами чуть гудят человеческие голоса, а оттуда, спереди, то молотком постучат, то проскрежещут ручником-пилою. В этом коридоре я как в подземелье: сыро, темно, даже страшно немного. Как тяжело быть одному: и здесь, и там вот, на улице, под скучным слепым дождем. Я выхожу из коридора прямо в сарай и здесь работаю. Мне все скучно по-прежнему, да вижу я, что и товарищам моим не весело. Стучим, строгаем, палим, таскаем, режем, вбиваем... Проходят часы. Как прежде, падает дождь непрерывными, бессильными, мертвыми каплями.

Когда на две, на три секунды у нас случалась тишина: не стучали молотки, не визжали рубанки и пилы,— через стены к нам стали доноситься какие-то звуки. И чем дальше, тем они становились явственней и громче. Гудит. Гудит. Гудит. Мы понимали, что это гомон человеческой речи... «Значит, не все пропало,— подумал я,— может быть, и праздник состоится понастоящему...» Вместе с говором и шумом, который все усиливался за стенами, ко мне в грудь проникало новое чувство, я замечал, что у меня хоть и медленно, а все-таки пропадает, рассеивается понемногу то гнетущее, мучительное состояние, с которым я шел сюда, которым полон был до этой минуты.

Кончена работа. Мы достроили, что хотели. Я бегу обратно длинным мрачным коридором, и он мне кажется уже совсем не таким отвратительным, как прежде. Лишь только поднялся по ступенькам — прямо к окну. А окно смотрит в фабричный двор. Двор переполнен рабочими.

«Так что же это такое? — чуть не крикнул я.— Неужели правда? Значит, ни слякоть, ни дождь, ни хмурое небо — ничто нипочем...»

Я почувствовал, как краска стыда залила мне лицо; как я сам себе вдруг казался и смешным, и маленьким, и жалким со своими куриными утренними сомнениями.

Взволнованный, спешу я в комитет, а туда не проберешься, все ходы-выходы заполнил народ. Толпа колыхнулась к выходу — это торопились открыть во дворе собрание, чтобы идти на главную, на Советскую площадь, куда соберутся к условленному часу все фабрики. Поплыла толпа. С нею плыву и я. Когда поравнялся с дверью, пахло все той же сыростью, что и утром; так же бесстрастно и печально падал дождь, так же угрюмо было свинцовое небо... А у меня дух захватывало от радости. Я торжествовал. Я был счастлив в те минуты. Я уже чувствовал себя так, как будто кого-то и в чем-то победил.

До сегодняшнего утра нам не показали новые атласные знамена. Вот они, у трибуны; я тороплюсь их смотреть:

«Да здравствует Советская власть!»

«Вся власть Советам!»

«Долой десять министров-капиталистов!»

«Над производством — рабочий контроль!»

«Передадим землю крестьянам, фабрики и заводы — рабочим!»

«Да здравствует мир!»

«Долой проклятую бойню!»

«Да здравствует Интернационал!»

«Смерть капиталу. Слава труду!»

Ах, какие это сжигающие лозунги! С каким захватом, с каким волнением из уст в уста передают рабочие эти огненные слова! Вот цели, к которым надо стремиться! Вот знамена, под которыми надо идти!

Скорее же, скорее на площадь, там будет нас еще больше, туда все фабрики принесут такие же атласные и шелковые знамена, где будут не вышиты — выжжены каленым железом такие же пламенные, зовущие слова.

Медленная, гордая, сильная, входит по ступенькам Катерина.

— Товарищи! Этот день — наш. Мы посылаем сегодня еще громче свой привет рабочим мира. Мы сегодня еще громче проклинаям бойню, устроенную капиталистами. Мы больше не хотим воевать. Не станем. Под этими знаменами, под этими лозунгами поклянемся во что бы то ни стало добиться победы рабочего класса!..

Недолго говорила Катерина. И не надо было долго говорить: вдохновенные лица рабочих, решимостью сверкавшие взоры, простые, словно литые слова, эти выкрики-клятвы, этот заклю-

чительный восторженный рев,— все сказало о готовности бороться, о готовности страдать, о вере в победу.

Мы пели «Интернационал». Что-то хотел еще сказать табельщик Каплушин, а ему крикнули из толпы:

— Сними с живота дареные хозяйские часы!

— Знаем мы тебя, поддыгалу!

— Ишь какой выискался защитник рабочим!

— Беги лучше — пошепчись с хозяином!..

Напрасно Каплушин махал жиденькими ручонками, напрасно брызгал слюною, торопясь что-то доказать и разъяснить,— из тысячи грудей неслось победное пение... Мы тронулись на площадь...

Никому не было дела до хмурого неба, до расслабленного, противного дождя, до сырости, грязной дороги, истыканной лужами.

Взявшись за руки, рядами, колоннами шли мы по широким улицам, и толпа все росла, облипала чужими, случайными, которые не могли устоять перед нашей силою, перед стройностью, перед новыми песнями.

Лейся вдаль, наш напев!
Мчись кругом!
Над миром наше знамя реет
И несет клич борьбы,
Мести гром,
Семя грядущего сеет.
Оно горит и ярко рдеет —
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем...

Вот она — площадь. Гремят оркестры: сюда уже пришли и революционные полки. Знамена, знамена, знамена... Кругом знамена: алые, багровые, рдяные, ярко-красные...

На площади пять трибун... И с каждой трибуны все одни слова:

— На борьбу! На борьбу, рабочие! Победа только впереди — это еще не победа!

— Мы готовы! — отвечали рабочие.

— Мы готовы! — отвечали полки.

Шелестели знамена, и казалось, будто они тоже говорят, соглашаются, одобряют...

Так в Мае готовились мы к Октябрю.

Москва, 25 марта 1922 г.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

(Октябрьские дни в Иваново-Вознесенске)

Мы знаем, что 25 октября совершится переворот — именно 25-го, — ни раньше, ни позже. Центральный бой будет в Питере и Москве — там решается почти все.

Туда будет нужна наша помощь: мы должны им сказать, что сами готовы, что можем дать своих лучших солдат, что здесь, у себя, мы — победители.

Когда один, другой, десятый, сотый город скажет, что и он победил, что и он готов к помощи, — только тогда победа. Деревня победит вслед... Мы это знаем и лихорадочно готовимся к роковым, решающим дням.

Рабочим за октябрь выдано по пяти фунтов дрянной муки. Больше не дадут ничего, надежд на близкую получку нет, достать неоткуда, а покупать им не на что и негде. Положение грошовой.

Мы приходим на митинги, многотысячные митинги ткачей, которые собираются у себя по фабричным дворам.

Приходим, сами до тошноты голодные, говорить с ними о голоде.

— Рабочие! Дорогие товарищи!.. Видите сами — откуда мы добудем хлеба?.. Близкую неделю так и не ждите, не будет совсем... А там... там, может быть, будет: твердо не заверяем, а надежда есть... Вы за октябрь получили только пять фунтов — это тяжело; но что же делать, коли хлеба нет и не видно: все картофельную шелуху жуем...

— И картофельной-то нет, — простонет из гущи со скорбью ткачиха, и ей глухо отзовется старая, строгая, мрачная соседка:

— Ах ты, господи, что же делать-то будешь...

— А вот што, — взвизгнет откуда-то женский крик, — вот што делать: у меня два дня не жрамши дети сидят!.. Ишь сло-

варь какой нашелся (это уже к нам), на што мне слова твои, ты хлеба дай — хлеба, а то мне — тьфу на тебя... Вот што...

Это мать. Она не говорит, а, прыгая на месте, пронзительно и часто причитает, неистово машет руками. Грани терпения перейдены, ее уговаривать невозможно.

Молчаливо стоят угрюмые, суровые ткачи: они понимают голодную мать — не помешают ей в криках, в протестах, в угрозах отвести взволнованную душу. И мы замолчим.

Так одна от другой заражаясь скорбью, вспомнив плачущих голодных ребят, еще больней, еще острее почувствовав вдруг всю муку лишений, женщины-матери, измученные ткачихи зывают о помощи, бранят и проклинают — кого?.. Сами не знают, кого, голосят, словно у дорогого гроба.

Спокойны, строги, серьезны стоят без движения ткачи...

Проходят минуты острого негодования, жалоб, безумных протестов и угроз... Море утихает, снова можно сказать; говоришь — и слушают тебя, и верят тебе, и знают, что помощь придет все равно откуда-то из Совета, от этих вот, стоящих на бочках, людей, которых выбрали они же, ткачи, которым вверили свою жизнь и которых можно крепко побранить, излить на них всю невыносимую боль страданий от голода, от болезней, лишений на каждом шагу и каждый миг; свои, не обидятся.

Пробовали на эти митинги проникать мясники и в бурные минуты недовольства и угроз начинали сами кричать, только по-своему, по-мясницкому... Их узнавали, иной раз колотили, выбрасывали из рабочих дворов:

— Не лезь в чужое дело — здесь свои бранятся, сами и столкуются...

Над толпою проносятся слова:

— Мы опутаны изменой и предательством. Правительство бессильно: оно продолжает кровавую бойню, оно фабрики держит за фабрикантами, не дает крестьянам землю... Станем ли дальше терпеть? Сила в нас, мы все можем сделать!

— И сделаем... Но лишь тогда, когда власть возьмем в свои руки!

— Верно, верно! — вырывается из сотен и тысяч грудей. — Вся власть Советам! Долой министров-капиталистов! Долой социалистов-изменников!

Забыли про голод, забыли про тяжелую нужду, — вот они стоят, рабочие, готовые на борьбу, самоотверженные, сознательные, неумолимые в своем решении...

— Подходят дни, — мчатся новые обжигающие слова, — последние дни, когда решается наша судьба. Пролетарская Россия готовится к бою... Готовы ли вы, ткачи?

— Мы всегда готовы...

— Так знайте же, что в близком будущем нам придется постоять на посту!

Окончено собрание — зашумела, заговорила, заволновалась толпа, рассыпалась-потекла в разные стороны...

Рабочие были готовы встретить врага.

На железной дороге — в депо, по мастерским, у водокачки — шныряли какие-то шептуны, задерживали рабочих, уверяли их, что надо скоро остановить движение, потому остановить, что в Питере и в Москве захватчики хотят отнять народную власть... Им не надо, говорили, давать помощи, их надо оторвать от всех, оставить одних, там и добьют их молодцы-юнкера и свободный народ...

Рабочие недоуменно смотрели на агитаторов, потом шли в железнодорожный комитет и докладывали об этом своим «вожакам». Хотели шептунов изловить, да пропали, так и не узнали, откуда взялись, кто подослал...

Иваново-вознесенские железнодорожники по всему обширному узлу приносили немалую пользу в Октябрьские дни. Они всегда были с рабоче-солдатским Советом, имели в нем своих представителей, ничего не делали поперек его воли, обо всем договаривались вовремя.

Выбиваясь из сил, чинили паровозы и вагоны; справляли маршрутные поезда; гнали их за хлебом... В самую горячку восстания они перевозили в Москву наши рабочие отряды помогать москвичам... Железнодорожники на своих предоктябрьских собраниях говорили то же, что ткачи, они были так же готовы к действию.

В городе стоял 199-й запасный полк. В нем 11-я, 12-я, 14-я роты, а обучена из них и готова одна лишь 11-я... Ну что же: и одна рота при случае сделает немалое дело.

В казармах сыро, холодно, грязно...

— Солдаты! Товарищи! Вам, может быть, в близком будущем придется выступать... Подлое и гнилое правительство не хочет, да и не может отдать трудовому народу все, что принадлежит ему по праву...

— Давно бы так! — крикнул кто-то из серой массы.

— Долой предателей!..

От стены к стене по каменному холодному корпусу метались грозные лозунги, ухали проклятья, торжественно и гордо вырывались и застывали над серошинельной массой святые клятвы идти на бой...

— Мы надеемся на ваше оружие, товарищи, оно, может быть, скоро понадобится — отстаивать Советскую власть...

— Да здравствуют Советы! — провозгласил кто-то в установившейся на миг тишине.

И масса неудержно, в каком-то исступлении закричала:

— Ура!.. Ура!.. Ура!..

— Да здравствуют Советы! — еще раз крикнул тот же голос.

И новая буря криков, восторгов, пламенных клятв...

Солдаты были с нами...

Так рабочих-ткачей, железнодорожников и солдат мы готовили накануне великих дней... Им скоро пришлось сражаться, только не здесь — в Москве, куда их отправляли на помощь.

С этой ли силой не победим? Кто же совладеет с нею? У нас и сомнений нет, что победа будет за нами...

Все ближе подходят сроки...

Мы нервно ждем сигнала, ждем окончательных вестей — и они пришли...

Совет рабочих и солдатских депутатов помещался в Полушинском доме, по Советской улице — лучшего места для тех времен не найти. Куда хотите — всюду близко: до станции рукой подать, на фабрики тоже недалеко, вот они: Бурюлинская, Полушинская, Дербеневская, Гандурина, Ивана Гарелина, Компания, Зубковская — до любой по шесть минут ходу. А это важно: там черпал Совет постоянную энергию, видел поддержку, там получал указания, узнавал желания — оттуда было все, фабрики были опорными пунктами советского могущества в городе.

На пленумах Совета, всегда многолюдных, шумных и оригинальных, в течение шести — восьмичасовых заседаний, тянувшихся чаще за полночь, — каких-каких только не разбирали мы тогда вопросов: не хватает хлопка на фабрике, угля, железа, тесу, красок — разбираем; где-нибудь кто-нибудь «хапнул», кого-нибудь оскорбили, поколотили, выгнали, наказали самостийно — разбираем; объявился шпион, подмастерья загрузили с рабочими, где-то надумали организовать детский приют, анархисты захватили купеческий дом, крестьяне укокошили помещичью усадьбу — разбираем.

Не было вопроса, который прошел бы, минуя Совет: все стекалось сюда.

25-го на 6 часов вечера назначено было заседание Совета. Что за вопросы разбирались — не помню, только настроение в

тот вечер было исключительное: спорили как-то особенно горячо, неистово, безо всякого соответствия значению вопросов, возбуждались быстро, реагировали на все болезненно; то и дело подавались ядовитые реплики; протестовавшие вскакивали на лавках, словно пузыри на воде: попрыгают-попрыгают и пропадут. А там другие... И можно было видеть, что все эти разбираемые вопросы — не главные, что на них только вымещают что-то кипящее внутри, вот то самое главное, о чем так хочется говорить, чего ждут не дождутся собравшиеся делегаты... Ведь сегодня 25-е... Может быть, утром... может быть, в ночь придет... А может быть, и теперь, вот в эти самые минуты, гремят там орудия, дробят пулеметы, колоннами идут рабочие, и льется, льется, льется братская кровь. Эх, скорей бы узнать! Уж разом бы узнать — все станет легче...

Три раза пытался я связываться с Москвою телефоном — не выходило. Наконец дали редакцию «Известий», и оттуда сообщили незабываемой силы слова:

«Временное правительство свергнуто!»

Чуть помню себя: ворвался в зал, оборвал говоривших, — встала мертвая тишина — и, четко скандируя слова, бросил в толпу делегатов:

— Товарищи, Временное правительство свергнуто!..

Через мгновение зал стонал. Кричали кому что вздумается: кто проклятия, кто приветствия, жали руки, вскакивали на лавки, а иные зачем-то аплодировали, топали ногами, били палками о скамьи и стены, зычно ревели: «Товарищи!.. Товарищи!.. Товарищи!..» Один горячий слесарь ухватил массивный стул и с размаху едва не метнул его в толпу. Уханье, выкрики, зачатки песен — все сгрудилось в густой бессвязный гул...

Кто-то выкликнул:

— «Интернационал!»

И из хаоса вдруг родились, окрепли и помчались звуки священного гимна... Певали свой гимн мы до этого, певали и после этого многие сотни раз, но не помню другого дня, когда его пели бы, как теперь: с такою раскрывшейся внутренней силой, с таким горячим, захлебывающимся порывом, с такою целомудренной глубокой верой в каждое слово:

Вставай, проклятьем заклейменный,

Весь мир голодных и рабов!

Кипит наш разум возмущенный

И в смертный бой вести готов...

Мы не только пели — мы видели перед собой, наяву, как поднялись, идут, колышутся рабочие рати на этот смертный последний бой; нам уже слышны грозные воинственные клики,

нам слышится суровая команда — чеканная, короткая, строгая, мы слышим, как лязгает, звенит оружие... Да, это поднялись рабочие рати:

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей...

Эти вести из Москвы — вот он и грянул великий гром! Рабочие победили. Рабочие взяли власть... Враг разбит — повержена «свора псов и палачей»...

А солнце сияет, сжигает огнем своих лучей... Да, да, все, как в песне: наш путеводный гимн, самая дорогая, заветная песня, которую пели в подполье рабы, за которую гнали, ссылали, расстреливали, вешали, истязали по тюрьмам, — может ли ошибаться эта песня, вспоенная кровью мучеников?.. Пришли наши дни — их мы ждали. Здравствуй, новая жизнь!..

Первые минуты бешеной радости прошли, но еще долго не могли улечься суетливость, нервность, торопливость. Вспоминалось, как два месяца тому назад, в «корниловские дни» — вот так же, как теперь, сидели мы на этих самых лавках и торопились решить: что делать?

Да — так что же делать, с чего начать? Мы ведь пока узнали лишь о том, что «Александра IV» нет — так Керенского в шутку звали у нас солдаты. Но дальше? Идет ли сражение, или окончилось, да и было ли оно вообще? Разговор по телефону оборвался в самом начале, его, быть может, оборвали сознательно, чтобы не дать нам знать про все, что совершилось. Мы еще не знали тогда о предательской, подлой роли, которую разыграли в великие дни наши почтово-телеграфщики, но предчувствие недоброго было уже у многих. Посыпались градом предложения — страстные, энергичные, но все больше какие-то фантастические, для дела совершенно негодные:

— Выслать немедленно в Москву на помощь наш полк, а во главу дать членов советского исполкома...

— Идти по фабрикам теперь же, сию минуту, оставив рассуждения; фабричными свистками собрать рабочих, объяснить положение, организовать на месте батальоны и слать их в Москву.

— Прекратить временно всю гражданскую работу, всем влиться в полк: одним — организаторами и политработниками, другим — стрелками...

Как это бывает всегда в подобных случаях — пока горячие головы фантазировали, другие за них думали, соображали, взвешивали обстоятельства, прикидывали разные возможности.

Было постановлено коротко:

Так как с Москвой и Питером подробности не ясны — будем их добиваться, а пока, вслепую, ничего не предпринимать. Это во-первых. Во-вторых, заняться организацией обороны у себя и помнить, что Иваново-Вознесенск, хотя и неофициально, является признанным центром огромного промышленного района, который надо обслужить, организовать, спаять, приготовить ко всем неожиданностям серьезного момента. В-третьих, создать особый боевой орган, которому вверить на самый горячий период все дело борьбы.

Орган создали, назвали «Революционным штабом», выбрали нас пятерых, дали общую директиву: «Держитесь крепко, смотрите зорко».

Штаб ушел для выработки срочных мер.

Советское заседание продолжалось, но, видимо, путалось, не клеилось, да и не могло в такие минуты оно продолжаться: попросту делегатам не хотелось уходить.

Через короткое время мы зоротились и сообщили, что ставим сейчас же по городу караулы, ставим в нужные места специальную охрану: на железнодорожную станцию, на телеграф, на телефонную станцию — всюду посылаем рабочий контроль; принимаем меры к оповещению города и окрестностей о событиях; связываемся тесно со всем районом; берем кого надо под надзор, намечаем заложников и т. д. и т. д.— словом, те самые меры, которые применяли мы постоянно в решающие минуты. Совет одобрил — работа закипела. Делегаты разошлись. Наутро весь город знал о происшедшем. На железной дороге создали свой специальный орган; в полку уже сам собой организовался из пяти человек Военно-революционный штаб.

Непрерывно работал телефон,— это нас тревожили каждую минуту Родники, Тейково, Шуя, Вичуга, Кинешма — все крупные рабочие центры; они не давали нам покоя, точно так же, как мы Москве; что мы узнавали,— сейчас же передавали дальше, и в результате весь обширный район почти в одно время узнавал самые свежие новости... На телефонах буквально висели, устанавливались очереди, каждому отдельному рабочему центру назначали свои часы.

Наши рабочие восторженно встретили весть о перевороте: они собирались огромными массами по фабрикам, слушали советских депутатов, жадно ловили новости, присылали за ними своих посланцев, то и дело с песнями, с флагами кружили около Совета.

Железнодорожники посылали свои делегации с клятвами дружно работать, с заявлением о готовности умереть за Советскую власть.

Полк в боевом вооружении, блестя щетиною штыков, уже не раз демонстрировал перед нашими окнами и громко заявил, что по первому зову расстреляет любую толпу, которая попытается с недобрыми мыслями тронуть наш Совет.

Первые ночи не спали сплошь. Из здания Совета почти не выходили: разве только на час-другой съездишь по вызову куда-нибудь на фабрику.

Многие среди бела дня, не выдержав усталости, бросались на голые просторные столы и так засыпали под общий гвалт, под визг и хлопанье дверей, телефонные звонки, хрипы автомобилей, трескотню мотоциклеток.

Здание Совета представляло собой настоящий вооруженный лагерь: кругом с винтовками рабочие, на окнах пулеметы, у нас у всех торчат за поясом револьверы, многие увешаны бомбами, иные хватили лишку: протянули через плечо пулеметные ленты.

Первая ночь прошла. В три часа дня назначено заседание Совета. К нам приходят сведения, что на почте-телеграфе неблагополучно: служащие собираются кучками, о чем-то сговариваются, контроль наш совершенно игнорируют, всячески его оттирают, при случае глумятся и все время провоцируют — вызывают на брань.

Уже несколько телеграмм послано в Москву помимо контроля. Ясное дело, что тут затевается что-то неладное. Но как, как дощупаться до всего? Откуда возьмем знатоков дела? Кто поможет? Провести любого из нас не составляло ни малейшего труда. Мы хорошо понимали, что контроль наш действителен лишь «постольку поскольку», что если и не будет обмана, то не по дозору, а единственно из страха «спецов» перед нашим крутым наказанием.

В двенадцать часов почтово-телеграфшики заявили Совету свой протест по поводу контроля, «потребовали» его убрать, угрожая в противном случае приостановить работу. Они ссылались на незаконность и ненужность самого мероприятия, то есть постановки контроля, указывали на грубости, которые якобы позволяли рабочие, говорили о том, что контроль осложняет всю технику дела и дальнейшую работу делает окончательно невозможной; что, наконец, у них, почтово-телеграфшиков, есть свой Центральный комитет в Москве, и они еще не знают его точки зрения на нашу меру, а если точка зрения ихнего ЦК будет отрицательная, тогда, дескать, «во имя профессиональной дисциплины они не могут нарушить» и т. д. и т. д.

Мы эту дребедень выслушали. Понимали, что за пустыми словами кроется самое явное, самое недвусмысленное дело: им не мила рабочая власть, они борются за Временное — увы! уже свергнутое — правительство... Но от репрессий мы пока решили воздержаться, предложили им выбрать представителя и пригласить его на сегодняшнее заседание Совета в три часа.

Представитель явился: какой-то фертик в воротничках и манжетах, с высокомерным, надменным лицом... Впечатление производил отрицательное. Держался нагло, почти смело — не могу все же допустить — утрированно и потому неправдиво, будто за спиной у себя чувствовал непреодолимую силу. Надо сказать, что вокруг почтово-телеграфщиков уже стала группироваться вся беленькая, серенькая и даже совершенно черная интеллигентская обывательская масса.

Представителя фактами прижали к стене и заставили сознаться, что никаких оскорблений от рабочих контролеров, в сущности, не было, что технику дела контроль не убивает и т. д.

— В чем же дело? — задаем ему вопрос.

Минутку помялся, а потом заявил:

— Мы, организованные демократы почты и телеграфа, прежде всего являемся людьми совершенно беспартийными и к политике никакого отношения не имеем... Свою работу как вели, так и будем вести. Нам все равно, чьи отправлять телеграммы: ваши или фабрикантовы. Это мы и будем делать... Контроль требуем снять немедленно, а когда явится надобность в Совете — мы сами сюда пришлем извещение. Мы также думаем, между прочим, что власть должна быть выбрана всем народом, а захватов никому и никаких поощрять не станем. Поэтому выбранное всем народом Временное правительство признаем как единственно законное и станем помогать...

Молодцу не дали договорить — поднялся невообразимый шум. Рабочие вознегодовали, услышав в своей среде вызывающие речи этого господина; тотчас же «пятерке» поручили принять по отношению к наглеющей публике беспощадные меры. Когда волнение поулеглось, представителя отпустили восвояси, только наказали ему снестись со своим московским ЦК и завтра, к заседанию Совета, представить результаты переговоров.

Но каково же было удивление, когда наутро — это было 27-го — почта и телеграф объявили забастовку и прекратили работу. Что было делать? Мы отовсюду оказались изолированными. Железнодорожники обещали пару-другую телеграфистов и телефонистов, но что же с ними одними поделаешь!

Сейчас же созвали к Совету рабочих, набрали группу хоть кое-что понимающих, послали их на место забастовавших.

В этот же день созваны были президиумы всех социалистических партий, железнодорожного и полкового комитетов, в полном составе городская управа и исполком.

Лишь только открылось заседание, как меньшевики и эсеры заявили свой протест (против чего?) и ушли.

Главную целью заседания было избрание вместо «пятерки» постоянно действующего органа — Штаба революционных организаций. Мы вошли в эту новую организацию: два от исполкома, один от управы, по одному от комитетов: большевиков, максималистов, железнодорожного и полкового.

Ночью же «пятерка» передала Штабу свои полномочия и дела.

В эту ночь и весь следующий день с телеграфом и телефонами намаялись мы немало.

Помню до сих пор, как трудно достался мне один № 38 телефона, как отчаянно пошла кругом голова от всей этой работы. А ничего не поделаться было. Сгоряча, видя, как трудно работать с «чужими», мы решили создать из ткачей свою армию телеграфистов, телефонистов, почтовиков и открыть для этого в ближайшие дни специальные курсы.

Но дело обернулось по-другому — никаких курсов создавать не понадобилось.

На следующий день, 28-го, всю эту забастовавшую ораву (их было человек двести) мы арестовали и проводили в столовую Куваевской фабрики: помещение холодное, неприветливое, угрюмое.

Сначала арестованные геройствовали, держались с большим гонором, на что-то надеялись, чего-то ждали... Но чем дальше, тем быстрее падало их настроение.

Было ужё, помню, около десяти вечера. В Совете шло заседание.

Решено было избрать теперь уже человек двадцать из присутствующих, разработать специальные вопросы арестованным и ночью же отправиться в столовую для допроса. Уже готов был вопросник, но перед самым отправлением передумали, и нам, вчетвером, поручено было отправиться на «политическую разведку».

Разведка удалась — она превратилась даже в настоящее сражение, и это сражение окончилось нашей победой...

— Кто такие почтово-телеграфщики? — спросили мы себя. — Представляют ли они единую массу, с едиными интересами?

— Конечно, нет.

— Все ли они враги наши?

— Нет.

— Так нельзя ли их раздробить по сему случаю?

— Ясно, что можно.

И мы принялись дробить.

Обращаясь главным образом к почтальонам, прислуге, мелким чиновникам, мы указали, разъяснили им, где чьи интересы, и рекомендовали отколоться от «высоких» чиновников, высказав нам свободно и совершенно безбоязненно свое мнение.

Результаты были чудесные: после двухчасовой перепалки, споров, беседы, протестов, ультиматумов мы добились того, что заключенные «генералы» остались в жалком меньшинстве, а вся масса порешила бросить забастовку, завтра же утром встать на работу, оставляя наш контроль и присоединяя к нему свой, для избежания технических осложнений. Отлично — мы согласились,

Политический вопросник остался неиспользованным. Арестованных выпустили. Перед тем как разойтись после примирения, спели даже «Интернационал», впрочем, слов они не знали и мычали за нами довольно сумбурно и нелепо.

Весь «инцидент» на этом и покончился.

Да диво ли: в рабочем центре, в таком котле пролетарском, как Иваново-Вознесенск, что тут могли быть за «движения», когда рабочие фактически держали власть и до и после Октября?

Дни были нервные, нервничали и мы; даже свой боевой орган, Штаб революционных организаций, не распускали целых две недели...

Как оглянешься назад — дух захватывает от величественного пути, который открыли незабываемые Октябрьские дни.

11 сентября 1922 г.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Автобиография	3
Из дневников	5
На подступах Октября	31
Незабываемые дни	35

Дмитрий Фурманов
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

Редактор — **П. КРАВЧЕНКО.**

А 00335. Подписано к печати 15/І 1968 г. Формат бум. 70×108¹/₃₂.
Объем 2,10 условн. печ. лист. 2,43 учетно-изд. л. Тираж 108 650.
Изд. № 2360. Заказ № 3356. Цена 6 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Библиотека «ОГОНЕК»

1967 год

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

- № 1. Николай ТИХОНОВ. Зеленая тьма. Повесть.
- № 2. Евгений ВИНОКУРОВ. Голос. Стихи.
- № 3. Андрей ФЕСЕНКО. Тополевый пух. Рассказы.
- № 4. Ричард РИВ. Кафе у дороги. Южноафриканские рассказы. Перевод с английского.
- № 5. Анатолий КУДРЕЙКО. Светомир. Стихи.
- № 6. В. ПЕРЦОВ. Всеволод Вишневский. Александр Довженко.
- № 7. Ирина ЛЕВЧЕНКО. Огненная линия.
- № 8. Евгений ПОПОВКИН. Как выбирали Катерину. Рассказы.
- № 9. Владимир СОЛОУХИН. Не прячьтесь от дождя. Стихи.
- № 10. Николай СЕКУНДОВ. Страницы пережитого.
- № 11. Федор БУРЛАЦКИЙ. Испания: коррида и каудильо.
- № 12. Николай ТРЯПКИН. Летела гагара. Стихи.
- № 13. Руфь ЗЕРНОВА. Длинное-длинное лето. Рассказы.
- № 14. Н. ТОЛЧЕНОВА. В жизни и на сцене.
- № 15. Трумэн КАПОТЕ. Один из путей в рай. Рассказы. Перевод с английского.
- № 16. Гафур ГУЛЯМ. Итог. Стихи. Перевод с узбекского.
- № 17. З. ХИРЕН. Одной жизни мало. Очерки.
- № 18. Почему мудрость встречается повсюду и почему не у всех она есть. (Сказки народов Африки). Перевод с английского.
- № 19. Мартын МЕРЖАНОВ. Олимп футбольный.
- № 20. А. БЕЗЫМЕНСКИЙ. Единство. Стихи.
- № 21. Мария ХАЛФИНА. Мачеха.
- № 22. Фрэнк ХАРДИ. Рассказы Билли Боркера. Перевод с английского.
- № 23. Галина СЕРЕБРЯКОВА. Под Красной звездой. Навеллы.

- № 24. Юрий МЕЛЕНТЬЕВ. **Овод живет в Уругвае.**
- № 25. Петрос АНТЕОС. **Лицо земли.** Стихи. Авторизованные переводы с греческого.
- № 26. Александр СЕРБИН. **Где гуляет Гиппопо.** (Африканские очерки).
- № 27. Виктор ТЕЛЬПУГОВ. **Серый в яблоках.** Рассказы.
- № 28. Лев САМОЙЛОВ, Михаил ВИРТ. **Игра с тенью.**
- № 29. Иван РЯДЧЕНКО. **Сладкая соль.** Лирика.
- № 30. Петр НИКИТИН. **В краю нартов.**
- № 31. Грэм ГРИН. **Поездка за город.** Рассказы. Перевод с английского.
- № 32. Л. ЛЕРОВ. **Блокнот, полный солнца.**
- № 33. Борис ЕГОРОВ. **Веселый вечер.** Юмористические рассказы.
- № 34. Александр КРИВИЦКИЙ. **Подвиг двадцати восьми гвардейцев.**
- № 35. Мария КОМИССАРОВА. **Лиза Чайкина.** Поэма.
- № 36. Юрий ЖУКОВ. **Америка, 1967.**
- № 37. Николай МИКАВА. **Фрески.** (Три новеллы).
- № 38. Леонардо ШАША. **Американская тетушка.** Повесть. Перевод с итальянского.
- № 39. Димитр МЕТОДИЕВ. **Солнечное притяжение.** Стихи. Перевод с болгарского.
- № 40. Вл. ПИМЕНОВ. **Воспоминания, встречи...**
- № 41. Леонид ЖАРИКОВ, Григорий ЕРШОВ, Михаил КОТОВ. **Наш современник — Николай Бирюков.** (Страницы героической жизни).
- № 42. Михаил ЛЬВОВ. **Обелиск.** Стихи.
- № 43. Жан ГРИВА. **Привидения.** Рассказы. Перевод с латышского.
- № 44. Юрий ИДАШКИН. **Давайте поспорим...**
- № 45. Андрей УПИТ. **Жемчужина из перстня.** Рассказы. Перевод с латышского.
- № 46. Д. КРАМИНОВ. **«Эль Теньенте».**
- № 47. Надежда ЧЕРТОВА. **Сухореченские сестры.** Рассказы.
- № 48. Демьян БЕДНЫЙ. **Снежинки.** Стихи.
- № 49. Клиффорд САЙМАК. **«Сделай сам».** Рассказы. Перевод с английского.
- № 50. В. ВЛАДИМИРОВ. **Времена и люди.**

ГОССТРАХ

ГОССТРАХ

ГОССТРАХ

**ГОССТРАХ ЗАКЛЮЧАЕТ С ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРЫ
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОЕНИЙ, ДО-
МАШНЕГО ИМУЩЕСТВА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ**

● Добровольное страхование строений и сельскохозяйственных животных проводится дополнительно к обязательному окладному страхованию. При этом общая страховая сумма по обязательному окладному и добровольному страхованию может составить до 80% стоимости строений и животных.

● Домашнее имущество может быть застраховано по добровольному страхованию в размере его стоимости по государственным розничным ценам.

По договорам страхования Госстрах возмещает ущерб в случае гибели или повреждения строений и домашнего имущества от пожара, наводнения и других стихийных бедствий, а по страхованию животных — при гибели их от болезней, несчастных случаев и вынужденного убоя.

Для более подробного ознакомления с условиями страхования и заключения договоров обращайтесь в инспекцию Госстраха. Инспекция Госстраха имеется в каждом районе. Агента Госстраха можно вызвать к месту вашего жительства или работы.

**ГРАЖДАНЕ! ЗАКЛЮЧАЙТЕ И СВОЕВРЕМЕННО ВОЗБ-
НОВЛЯЙТЕ ДОГОВОРЫ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХО-
ВАНИЯ.**